

ЛАУРЕАТ
БУКЕРОВСКОЙ
ПРЕМИИ

18+

Андрей
Сергеев

*Альбом
для марок*

ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Предметы культа

Андрей Сергеев

Альбом для марок

«Издательство АСТ»

1998

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Сергеев А. Я.

Альбом для марок / А. Я. Сергеев — «Издательство АСТ»,
1998 — (Предметы культа)

ISBN 978-5-17-156382-0

Андрей Сергеев (1933-1998) — поэт, признанный мастер стихотворного перевода англоязычной поэзии XX века. В середине 50-х входил в “группу Черткова”, первое неподцензурное сообщество поэтов послесталинской Москвы. Знаковая фигура андеграунда 60-70-х годов. “Альбом для марок” — мозаичный роман-воспоминание, удостоенный в 1996 году Букеровской премии, автобиографическая проза и одновременно сильное и точное изображение эпохи 30-50-х. Мемуарные “Портреты” изящны и точны — идет ли речь о малоизвестных людях, или о “персонах” — Анне Ахматовой, Николае Заболоцком, Корнее Чуковском, Иосифе Бродском, который посвятил Андрею Сергееву несколько стихотворений. В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-156382-0

© Сергеев А. Я., 1998
© Издательство АСТ, 1998

Содержание

Альбом для марок	6
том первый	6
до войны	6
война	21
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Андрей Сергеев

Альбом для марок

© Сергеев А. Я., наследники

© Никеев Г. Г., фото

© Бондаренко А. Л., художественное оформление

© ООО «Издательство АСТ»

Альбом для марок

Коллекция людей, вещей, отношений, слов

том первый европа

ДО ВОЙНЫ

Я лежу на мамином топчане и сквозь струганую перегородку вижу, как в моей комнате обсыпанные мукой белые люди кухонными ножами режут тугие рулоны теста. У меня воспалилась желёзка на шее. Из Малаховки приезжает на велосипеде статный хирург, которого я зову Гастрономом. Он входит ко мне с шоколадками и в один прекрасный день днем под зажженной лампочкой на столе в столовой – мама и бабушка держат меня – делает операцию.

– Сделал, как барышне. Шов такой, что никто не заметит.

Соска давно не нужна, но расставаться жалко. Папа сводит меня по насыпи, кладет соску на рельс и показывает рукой:

– Сейчас пойдет электричка.

Я гляжу в сторону Малаховки. Электричка быстро проходит. Мы снова у рельса, на нем пусто. Мне легко, что всё позади, и уже не жалко; и жутко, что так пусто.

Все надо мыть; мы моем тоненькую морковочку с грядки в помойной бочке. Вадику ничего. Мне от дизентерии доктор Николаевский прописывает белую, как простокваша, тухло-солено-сладкую микстуру. Живот болит много лет.

Анна Александровна, монашка от Тихоновых, приносит известие:

– Дети – цветы жизни выкинули доктора Николаевского из электрички. На полном ходу.

ДЕТИ – ЦВЕТЫ ЖИЗНИ написано на моей любимой маленькой вилочке. На больших – 3-Д ТРУД ВАЧА. Железные ножи-вилки долго пахнут. На террасе за обедом мама/бабушка под руку предупреждают:

– Селечный нож!

Хорошие – ложки, особенно чайные ложечки. Они серебряные, на них клеймо с Георгием Победоносцем и фамилия САЗИКОВЪ. Такой фамилии ни у кого нет.

У Авдотьи гостил мальчишка Маркслен Ангелов. Потому что его отец – болгарский революционер. Юрка Тихонов сразу не понял, переспросил:

– Марк-Твен Ангелов?

У папы на работе есть знакомый Вагап Басырович.

Меня папа хотел назвать Виктором; мама назвала в честь Андрея Болконского. В роддоме соседка презрела:

– Что такое деревенское имя дали?

Сама родила. Назвала своего Вилорий. Мама съязвила:

– Что ж вы такое церковное имя дали?

Соседка возмущена: Вилорий – Владимир Ильич Ленин Отец Революций.

У мамы душа в пятки.

Мама и бабушка всегда боятся:

- Не бери в руки – зараза!
- Не трогай кошку – вдруг она бешеная!
- Там собака – смотри, чтоб не тяпнула!
- Вон идет человек – смотри, чтоб он тебя не стукнул.

Я всматриваюсь, напрягаюсь, мокну под мышками, устаю – и спешу приткнуться к маме, бабушке, к утешительному занятию – чтобы один и в покое.

Спокойно и интересно листать разноцветные детские книжки:

Анна Ванна, наш отряд
Хочет видеть поросят
Бегемот провалился в болото
Девочка чумазая,
Где ты ноги так измазала?
На Арбате в магазине
Зубы начали болеть
И немытый, и небритый
Человек сказал Днепру
Не завидуйте другому,
Даже если он в очках
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной
Мой знакомый крокодил
Может, снова можно драться
Значит, деду нужен бром

Уютно перерисовывать в юбилейные пушкинские тетрадки маленького Пушкина и маршала Ворошилова. Он лучше всех вождей, лучше него только Сталин, самый приятный, добрый, успокоительный – неотъемлемая часть моего детства.

– СПАСИБО ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ ЗА НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО – я представлял себе: низкое солнце, зима, просто стоят четырехэтажные с большими окнами – как новые школы – дома, по широкому тротуару спокойно, не торопясь идут люди, дети тащат на веревке салазки. Все это чуть-чуть под гору.

Читать-писать меня никто не учил, все сам. В тридцать восьмом красным карандашом на первой странице нового краткого курса с нажимом вывел нестираемое ГОВНО. Папа не сразу заметил, чуть не взял на политзанятия. Пришлось нести бабушке в печку. Мне не попало, больше того, бабушка ласково:

- Домашний вредитель.

Ребята рассказывают, что в соседнем доме поймали шпиона. Он по ночам в ванной зашивал себе выше локтя под кожу военные тайны.

Взрослые говорят, что на обложках моих пушкинских тетрадок в *Вещем Олеге* и *Лукоморье* – контрреволюционное. Если в численнике перевернуть Калинина вверх ногами, получится Радек. Радек сочиняет все анекдоты, его не расстреляли – а то кто будет писать передовые статьи?

В синей красивой истории для пятого класса я нахожу на пуговице у Ленина-гимназиста четкий фашистский знак.

Барто подталкивает:

– Наш сосед Иван Петрович
Видит всё всегда не так.

Общественница из красного уголка объясняет:

– Гофмана арестовали за то, что у него нашли фотографию Троцкого.

Гофман – партизан-дальневосточник – держал за заборчиком пару немецких овчарок. Наши мамы его ненавидели: всегда лез без очереди, размахивал красной книжечкой.

Красная книжечка – взрослые произносят медленно, осторожно. Но наш дом во все горло зовут Большим домом – он самый большой в переулке: пять этажей с полуподвалом. Вокруг осевшие флигели, а наш красивый поставили в четырнадцатом году прямо на речке Капле. Когда по Капельскому идет трамвай, стекла в рамах подрагивают.

На углу Первой Мещанской была церковка Троицы-Капельки. Построил кабатчик: с согласия не доливал всем по капельке. На месте церковки пустота и лужи с ярко-красными сколами кирпичей, как у бабушки во дворе, – а вокруг пустоты серый высокий дом со 110 почтовым отделением. Со стороны Первой Мещанской – колоннада, папа ведет меня на возвышении между ребристыми колоннами. Папа восхищается современной Первой Мещанской, только окна в домах низкие. И еще – посередине улицы *деревья чудные были* – все срубили.

В переулке зимой человек без пальто, опухший, в очках просит у мамы двадцать копеек. Она достает рубль:

– Несчастный.

Когда мы с ней в городе, она покупает мне разрезанную круглую булку с горячей микояновской котлетой, а сама ждет.

Микояновская, по-моему, вкуснее домашней, но сказать нельзя – обидишь. И жевать на виду в булочной – как будто кто подгоняет.

Старые дамы спрашивают через прилавок:

– Франзольки у вас свежие?

На стенах домов рекламы:

Я ЕМ ПОВИДЛО И ДЖЕМ
ВСЕМ ПОПРОБОВАТЬ ПОРА БЫ,
КАК ВКУСНЫ И НЕЖНЫ КРАБЫ!

Вечером на брандмауэре – кино: три поросенка поют с умильным акцентом:

– Кушай больше ветчины!

В дни полочки папа приносит домой двести граммов любительской колбасы, нарезанные в магазине тоненькими лепестками.

Мама отдает книгоноше Брокгауза-Ефрона, он занимал доверху все полки сбоку на мраморном подоконнике. Придя с работы, папа хватается за голову: осталась одна Малая советская, и та неполная.

Папа не вырезает из энциклопедии статьи и не заклеивает портреты.

Летом в Удельной полоумная жилица Варвара Михайловна показывала маме книжки с Тимирязевым и Сталиным:

– Посмотрите, какое благородное лицо. А этот – совсем без лба!

Папа рассказывает о делах в Тимирязевке: сослуживец доцент Дыман появляется по воскресеньям в церкви – высматривает знакомых. Поручили: партийный.

– Противный, – говорит в рифму мама.

Дыманá навевываются к нам по несколько раз в зиму.

Большая Екатерининская. Мы сидим на скамеечке перед печкой. Чуть растопится, дверцу скорей закрывать: перевод дровам. Смотреть на огонь увлекательно, но нельзя. Сегодня – можно.

Бабушка перебирает бархатный с золотыми застежками семейный альбом и отстригает головы от солдатских мундиров с погонами:

– Были бы лица целы!

Иногда говорит в стену:

– Садист! – Или в окно: – Сифилитик!

Я слышал, маме она вполголоса признавалась:

– В уборной попадетсá портрет в газете – я помнó, помнó, а все-таки переворачиваю, все-таки человеческое лицо...

Бабушка так неотъемлема, что я, унижая сверстника во дворе, как-то вознесся:

– Тебя одна мама родила, а меня – мама и бабушка!

Мне не внушают, чтó можно, чего нельзя, но я только раз безумно соврал во дворе же, что мой папа – царский генерал. Опять не попало.

В другой раз похвастался – даже понравился. Ка́йнна – Клара Ивановна – наклонялась:

– Ну, Андруша, ну скажи еще раз, как сказал?

– У меня папа военный, мама военная и бабушка – военная старушка.

Формы и знаки различия завораживают – кубики, шпалы, четыре ромба со звездой, красные обшлага, нашивки на рукаве. Роскошней всего – казачьи лампасы, пронзительней – будённовские усы.

Остроконечность будёновки это военная хитрость: из окопа покажется острый кончик – его-то враг и прострелит.

В разноцветной книжке Будённый приезжает в детский сад и дает потрогать саблю и усы. Называется книжка *Будёньшии*.

Меня привели в новую парикмахерскую ЦДКА. Я не свожу глаз с мужеподобной женщины в лётной форме. Раскова? Гризодубова? Осипенко? Маме ничего не стоит спросить. Вера Ломако. Тоже готовилась лететь Москва – Дальний Восток.

Имена моего детства:

Самолет *Максим Горький* – ледокол *Челюскин*

Отто Юльевич Шмидт – капитан Воронин

Мóлоков – Каманин – Ляпидевский – Леваневский и пр.

Чкалов – Байдуков – Беляков

Громов – Юмашев – Данилин

Раскова – Гризодубова – Осипенко

Папанин – Кренкель – Ширшов – Федоров
Бадигин – Трофимов

Самый главный – Чкалов. Моложе меня уже много Валериков. И вдруг мамы рассказывают друг другу и плачут. Чкалов, говорят, врезался в свалку. Я представляю себе черный ход, дворницкую, деревянный ларь для очисток – и из него торчит маленький самолетик. Может быть, на него из дворницкой глазают татары.

Татары-старьевщики кричат под окнами:
– Старьем-берем! Шурум-бурум!
Их заводят на кухню с черного хода. Ихними мешками няньки пугают маленьких.

Няnek сколько угодно. У меня когда-то была Матённа, Мария Антоновна Венедиктова, бабушкина приятельница, водила меня по церквам, могла тайно крестить. Мама/бабушка меня не крестили сознательно: вырасту, захочу – дескать, сам крещусь.

В улочках потише, по тротуарам, по пять-шесть мальчиков-девочек в ряд, тянутся группы. Старушка-руководительница разговаривает на иностранном языке.
– Я своего отдала в немецкую группу.
– Мой ходит во французскую.
– И зачем вы своего в английскую?
Я не ходил ни в какую группу. В детский сад за забором тоже.

В Удельной по переулку с деревянным ящиком на плече проходят стекольщики:
– Стюкл' вставлять! Стюкл' вставлять! – Или халтурщики:
– Чиним-паяем, ведра починяем!

Раз в лето объявляется Иван Иванович, отходник из Вялок. Лопатой на длинной ручке он вычерпывает говно из-под дома и отвозит в железной тележке к яме у ворот.

И в Удельной, и в Москве забредают тощие одноногие шарманщики: *тиорлюрлю*. Одноногие они из-за своих одноногих шарманок.

Во дворах торгуют китайскими орешками. Они невкусные, отдают землей и касторкой, но если облупить и расколоть ядро – на одной половинке сверху – маленькая голова китайца с бородкой.

Бабы разносят малиновых петушков на палочке – ужас мам:
– Сплошная зараза.

В день демонстрации их много на Первой Мещанской.

Первую Мещанскую пробовали назвать Первой Гражданской, потом вернули Первую Мещанскую.

По Первой Мещанской идут люди. Высоких мало. Так мало, что не ленятся произнести длинное прозвище *Дядя-достань-воробушка*.

В простые дни на Первой Мещанской – телеги, сани, фургоны, лошади. Лошадей – как машин. Лошади – неинтересно, машины – разные. Обыкновенные – серые, тощие. Редко-редко посередине промчится солидная черная, лакированная, выпскивающая дискантом что-то вроде:

– Овидий!

На углу Третьей Мещанской у кооператива, у Соколова, – с лотком моссельпромщица. Ириски, тянучки, ракушки с белой или розовой начинкой, шоколадные бомбы – внутри пустые. Говорят, раньше в них были какие-нибудь замечательные маленькие вещицы. Все это дорого.

Заманчивее всего – потому что запретно – самодельные игрушки разносчиков:

Бумажный мячик с опилками на резиночке – хлопнуть по лбу соседа.

Соловей – ярко-красная деревянная втулочка со свинцовым сердечком. Нажимая, вращаешь – изводит скрипучими трелями.

Шмель – глиняный цилиндрок на веревочке и на прутике. Раскрутишь – гудит.

Уйди-уйди – напальчник на трубочке с перемычкой. Надуешь – воет, еще один ужас мам:

– Изо рта в рот, опять сплошная зараза.

Баббитовый пугач с пружиной на винте. Громко стреляет пороховыми пробками, самый большой ужас мам:

– Руку оторвет!

Чтобы победить разносчиков, на Первой Мещанской в маленьком игрушечном магазине мне покупают коробку – как спичечная, но большая: десять солдатиков и командир, раскрашенные, переложены ватой.

Солдатики прибавляются по одному – по два. На Большой Екатерининской показываю дедушке:

– Пехотинец, конник, знаменосец, трубач, пулеметчик.

Дед на бегущего в противогазе в атаку:

– Аташник.

На Капельском, пока мама готовит на кухне, я играю в солдатики на дубовом паркетном полу. Стол один – папин письменный/наш обеденный. По радио передают беседу на тему *Существовал ли Гефсиманский сад?*

Каждое утро в десять часов я слушаю детскую передачу:

Жили в квартире
Сорок четыре,
Сорок четыре
Веселых чижа
Жили в квартире
Злые черные клопы.
Их морили голодом,
Их студили холодом,
Поливали кипятком,
Посыпали порошком —

и сказки, рассказы – всегда заслушаюсь, если только не:

Текст читал Николай Литвинов, – он говорит, как подлизывается, голос вкрадчивый, словно все врет.

За детской – передача для домохозяек: жены-общественницы, премированные велосипедом, девушки-хетагуровки. Песня: *Уезжают девушки на Дальний Восток*. Песня про героя-стрелочника:

Пусть жизнь он отдаст,
Но только не даст
Врагу разрушить путь.

Мама выключает тарелку, только когда укладывает меня спать или когда про Павлика Морозова.

В восемь часов папа слушает сводку.

Иногда радиостанция имени Коминтерна транслирует из Мадрида *Но пасарán*. Все передачи хриплые, самые хриплые – из Мадрида и записанное на пленку.

Папа катает меня на метро. Дух захватывает, когда поезд идет над Москва-рекой и в окно видно Кремль с рубановыми звездами. Известно, что самая красивая станция – “Киевская”.

На ноябрьские дни папа возил меня смотреть иллюминацию и показывал на вокзале новые паровозы ИС и ФД – в лентах, как кони из книжки.

Я голосую, как большие. Папа поднимает меня, и я опускаю в урну – за Булганина.

Во дворе я – как все, хочу быть как все. Боюсь Аркашку из флигеля, заношусь над Рахитом – Рафиком из дворницкой. Катаюсь на санках, стоя скатиться с горы – слабб. От неловкости избегаю скакать по асфальту в классы. Играю в войну, в прятки, раз играл в дочки-матери.

Только заиграешься, мама руку за шиворот:

– Как мыш, мокрый.

И без нее не легко – постоянное чувство досады (не такой быстрый и ловкий), обиды (хотя никто меня не обидел). Я напрягаюсь, с ничего устаю, до беспамятства выхожу из себя. Девочка с четвертого этажа заспорила – я ее по голове ребром железной лопатки, в кровь. Мама бегала извиняться, стыдила меня. У меня был не стыд, а ужас: что я натворил, что теперь будет?

(Верить не верить поздним маминым воспоминаниям:

– Ты все хотел дворником стать. Говорил: встану рано, лопату возьму – пойдут люди, а я им под ноги снег – швырк! швырк!)

С бидоном на кухню приходит тощая голодная молочница Нюша. Из полного бидона выливает кружку, потом вливает назад. Неполный – покачивает, бултыхая. Я выношу ей гадость – соленый огурец с вареньем. Екатерина Дмитриевна видит и говорит, что у них на Украине огурцы едят с медом. Мама ничего не говорит. Папа без радости мной восхищается:

– Просто прелесть, какая гадость!

А я слышал, как Нюша шепотом маме, что к ней приезжали ее сыновья-летчики и что она их боится.

Бабушка любит лечить, мама все время лечится.

Слова моего детства: банки, горчичники, синий свет, кальцекс, аспирин, акрихин, стрептоцид, дигиталис, адонилен, сальсолин, диуретин, люминаль, папаверин, фитин, йоридонт, пурген.

Я люблю бывать в аптеке. Вокруг все неряшливо, грязновато. А в аптеке – белизна, порядок, форма – почти что красиво.

У меня постоянно болят зубы. Мама водит меня в Москве на Первую Мещанскую к Барской, в Удельной на Северную к Саланчевской. Обе пожилые, невысокие, одинаковые, обе накачивают ногой бормашину. Мама объясняет:

– Сейчас тебе в рот влетит китайская пчела. Она не кусается.

Скарлатина. Районный врач приговаривает: в больницу, – и уходит. Мама в ужасе: кто знает, что они там в больнице с ним сделают? Бабушка – сама служит в больнице – распоряжается:

– Приедут – скажешь, уже увезли.

В высоком черном такси меня перевозят на Большую Екатерининскую.

Как-то один-единственный раз меня посетил свой, домашний, доктор. Заставил попри-
сидеть, послушал, как трещат коленки:

– Гнилушка ты, гнилушка, прямо тебя на помойку.

В Удельной я не такая гнилушка – там спокойнее, больше один.

Под вечер спадает жара, находит стих бегать. Несусь от колодца к воротам, обратно
шагаю, загораживаясь рукой: слепит солнце.

Часто со мной гуляет папа. В Москве он приходит поздно.

Папа не боится, что кошка вдруг бешеная, что собака тяпнет, что человек может стук-
нуть. Проходит рядом с лошадьёю и коровой и не боится, что лошадь брыкнет, а корова на рог
подцепит.

Папины анекдоты:

– Старушка молится в церкви. Вдруг замечает что-то белое, круглое. А поднять неудобно.
Старушка встала на колени, не глядит, рукой потянулась: – Тьфу ты, прости меня, Господи,
думала двугривенный, а это плевок.

– Барышню приглашают танцевать, а она все отказывается. Кавалер спрашивает: – Отчего
вы не танцуете? – Когда я тОнцую, тОгда я пОтею, а кОгда я пОтею, тОгда я вОняю.

Я требую чего-нибудь интересного. Папа рассказывает про папу римского. Я не унима-
юсь:

– Папа в Риме, а где мама?

– Мама? В Париже. Папа римский и мама парижская.

Я заказываю про шпионов. Папа про них ничего не знает. Рассказывает про Соньку-
Золотую-Ручку и Нат-Пинкертона. За речкой, в Чудакове, показывает облупившийся барский
дом:

– У меня был маленький револьвер-бульдог. Я ждал обыска и положил его на балку между
бревнами и обшивкой, он и свалился – со второго этажа. До сих пор, должно быть, лежит.

Я поднимаю с земли железное грубо-тонкое повторение ломика.

– Фомка, – узнает папа и объясняет, что это, для кого и зачем.

– Удельная – земли Удельного ведомства. Красково – красть кого. Малаховка – малая
аховка, там было спокойнее. Однажды в студеную зимнюю пору разбойники напали на сани,
а кучер наставил на них копченую колбасу, закричал: Убью! – они и разбежались. Бывает,
бывает, колбаса стреляет. В мирное время в Удельной от станции до Чудакова конка ходила.
Богатые дачи были. Старуху Клепикову бандиты убили зимой, она одна оставалась. Она им не
открыла, они подожгли.

Мама просыпается под утро: скрипнула рама, кто-то хотел влезть. Спящим жулики при-
жимают к лицу тряпки с хлороформом.

Бабушка привезла на всякий случай свисток: на соседней даче услышат и прибегут.

Идти со станции поздно – опасно. Чаще всего раздевают в ольшанике перед Новой Мала-
ховкой, за новым мостиком, где два китайца утонули.

Два китайца утонули – из наших с папой прогулок. Они учились в КУТВе и пьяные
пошли вброд.

Суховольский, папин знакомый – он старше папы, – тоже помнит китайцев, посмеива-
ется: в самом мелком месте. Он в косоворотке, подпоясан кавказским шнурком, в галифе и
тапочках. Приглашает к себе в Быкóво:

– У меня фисгармония! Я вам Бортнянского сыграю! Это такая музыка – стены плачут!

От Суховольского:

– Лакримоза!

Милиционер – один и на станции.

Иногда по Интернациональной важно проходит – грудь, как бочка, – невысокий в новой диагональной форме. Мамаи глядят ему в спину:

– НКВД.

Вспоминают:

– У Козьей бабушки жил Вацетис. Каждое утро делал гимнастику и обливался холодной водой.

Володька, младший брат нашего дачника Саши, забирает у мамы *Дни Шульгина*:

– Вас еще за нее посадят.

– Возьмите, – говорит мама, а когда он уходит: – Поганец!

В выходной в компании дачников Володька рассказывает, что слово *керосин* произошло от фирмы *Керо и сын* – она первая им торговала. Все великие люди – евреи: Колумб, Кромвель, Наполеон, Карл Маркс. Гитлер тоже еврей.

После обеда летники и дачники собираются на верандах вокруг патефона. Годами готовятся, откладывают, обговаривают – и покупают театральный бинокль, термос, патефон.

Пластинки, в общем, у всех одинаковые.

Из сознательности – *Все выше, Марш-велотур, Марш водолазов, Машину ведет комсомолец-пилот.*

Из образованности – Шаляпин.

По пристрастию – у кого Лемешев, у кого Козловский. Лемешисты воюют с Козловским отчаянно и безнадежно.

Для души – Козин или цыганское.

Для компании – Утесов и заграничные танго, фокстроты, румбы. Пластинки – не заграничные, все до единой – Ногинский или Апрелевский завод.

В компании танцуют. Папа не танцует. Мама умеет вальс. Мне сказали, что варламовская *Свит-Су* – китайская музыка, и я танцую в углу террасы фокустрот по-китайски, с поднятыми указательными пальцами.

Патефонная музыка не та, что по радио. Там оперы, хор Пятницкого, хор Александра, песни советских композиторов, фантазии на темы песен советских композиторов, песни о Сталине.

Радиомызыка увлекает куда меньше, чем патефонная.

И все же за долгие годы включенной трансляции я уловил, полюбил, запомнил такое, чего не доставало в самой жизни, – яркое, экзотическое:

Секстет Глинки
Тореадор, смелее в бой
Тореадор и андалузка
Кукарача
Тиритомба
Мадрид, ай-ай-а

Я все время напеваю: говорят, у меня слух. Бабушка, мама, папа хотят учить меня музыке.

Это значит, на пианино. В музыкальной школе на пианино не принимают, там евреи на скрипке учатся: в случае чего скрипку под мышку и побежал.

Сумасшедшая тетка Вера на своей прямострунке ФОЙГТ никогда не играла. Прямострунку отвергли, скорее всего, из щепетильности. В начале тридцать девятого бабушка отыскала, папа купил хороший недорогой ОФФЕНБАХЕР. Недорогой: пять тысяч! Понятно, откуда такие деньги – папа только получил за книжку. Непонятно, как высокий, большой инструмент влез в наши тринадцать метров.

Я тычу пальцами в клавиши. Думаю, каждая клавиша – буква; если знать слова, по клавишам можно набрать любую песню.

Бабушкин знакомый учитель музыки, чех Александр Александрович Шварц уже очень старый. Незнакомая учительница принесла Гедике, заставила постучать карандашом по деке, подложила под меня тома Малой советской и убила насчет клавиш-букв. Я, рассерженный, ей в спину:

– До свиданья, Маланья!

Попало.

В трамвае мама разговорилась с серьезенькой девочкой лет восьми: папка с лирой.

– Я учусь у Любовь Николавны Басовой, лучше ее никого нет.

На Пушкинской площади в доме Горчакова у Любви Николаевны Басовой занимаются одаренные дети:

– После этого сфорцандо Мильчик интуитивно взял педаль...

Я не одаренный. За пианино кнутом не загонишь, калачом не заманишь. Хожу с невыученными уроками – как раздетый. Маюсь.

На патефоне или по радио слушать было полегче. Даже последние известия интересней, чем зубрежка на пианино. Я раскрываю газету. Дедушка читает *Известию*, я – *Правду*, как папа. Уже знаю, что и про что пишут. Привыкаю. И вдруг – на переднем месте насупленный Гитлер, поодаль наш Молотов. Во дворе из красного уголка выходит общественница:

– Теперь нельзя ругаться фашистом.

Наступает пора изумления.

Папин сослуживец, молодой дядя Володя, – чуть ли не единственный, кого с радостью приглашают на Капельский, – рассказывает, что в Западной Белоруссии и Литве не радовались Красной армии:

– Стояли и плакали.

Он привез мне 30 копеек/2 злотых 1835 года и 20 сентов со скачущим рыцарем.

Эстонские кроны с ладьей – как золотые.

В магазинах полно латвийских конфет – *шоколади фабрику Лайма*. Клара Ивановна переводит. С отвычки сначала читает *Лайма* как *Сайма*, хозяйство.

– Лайма, ну, это счастье.

Конфеты в сто раз вкуснее, чем *Красный Октябрь*, а таких красивых фантиков у нас просто не бывает. А какие коробки с папиросами!

Взрослые говорят:

– Откуда у них табак? Торфом, наверное, набивают...

В последний день финской войны, после перемирия, под Выборгом убили папина брата Федора.

Вернувшиеся изумляются злобности финнов:

– Кукушка сидит на дереве, стреляет до последнего патрона.

– Медсестра наклонилась над раненым финном, а он в нее нож!

По радио, в газетах никогда: финская армия, финские солдаты. Только: банды, бандиты, в лучшем случае: шюцкоровцы, лахтари.

Первый *Огонек* за сороковой год: Красная армия по просьбе рабоче-крестьянского правительства Финляндии помогает трудовому народу прогнать помещиков и капиталистов.

Из Риги вернулся дачник Саша – изумляется злобности латышей:

– Они же нас ненавидят! Бреюсь у парикмахера и боюсь, что он перережет мне горло.

Саша вывез из Латвии много особенного: полосатые трусики с костяной пряжкой для Леньки, яркие платья и кофточки для своей Дуси и Володькиной Надьки, чайник со свистком, никелированную немецкую зажигалку с пастушком, точилку для карандашей в виде хорошенького автомобильчика.

Автомобильчик вскоре переезжает в мои завидные вещи. В латунной – внутри шелк – коробке от духов *Билитис* (Ралле, Москву) – расписная жестяночка с китайками из-под царского чая, стальной американский футлярчик для десятка лезвий *Жиллёт*, перламутровый кошелечек, полированная мраморная пластиночка, раздвижной серебряный перстенок с рубином, любимый бабушкин брелок с зеленой лягушкой и незабудкой, кавказский кувшинчик с узорной эмалью – тоже брелок, медный жетон в пользу беженцев, образок святой преподобной Ксении без ушка.

Дедушкины подарки – старинная копейка-чешуйка, петровская гривня, елизаветинский пятак с орлом в облаках, пробитые екатерининские гривенники.

Все это редкостное – ни у кого нет. Я хочу, хочу того, чего нет ни у кого. Это красивое – красивое встречается так редко...

Верхом французского придворного изящества кажется мне головка в окне парикмахерской: черты тонкие, легкие, таких черт на улице, у гражданок, не бывает.

Красивые – ярко-алые кровавые плевки на снегу. Красивый – голубой лев и единорог на унитазах. Красивые ордена и значки. Красивые цари в книге и на марках. Последний царь – Николай Третий.

Марки у меня в большой – с гробсбух – нелинованной грубой зеленой тетради. Мама их налепила по порядку: на первом листе Англия с Викториейми и Георгами, на втором – Франция со Свободами, потом Италия, Германия с Лессингами и Лейбницами и дальше, с Запада на Восток.

Сначала мама приклеивала марки за уголок синдетиконом, они быстро промокали, уголок темнел. Посмотрела, как у Юрки Тихонова, и стала сажать марки на ножках. Удивительно, если всмотреться в самые некрасивые марки, всегда увидишь, что на самом деле они все равно красивые.

Сын дачника Саши Ленька не любит красивое, он даже не знает, красивое это или некрасивое. И вообще он здорово не такой, как я.

Каждое лето с папиной помощью я горожу в углу участка из старых досок дом с дверью на ремешках и со щеколдой. На крыше – обрывки толя, перед окошком – самодельный стол.

Как-то мама и Сашина Дуся посадили нас с Ленькой туда – обедать. Он так чавкал и перемазался, что я от омерзения стукнул его и убежал. Он оскорбил мои чувства.

Назавтра я накормил его заячьей капустой и козьими орешками. Я делал вид, что ем сам, он жадничал и вырывал изо рта. Когда у него заболел живот, он сказал. Саша тронуть меня не отважился, но маме посетовал:

– Вы такой чудный человек, Евгения Ивановна, и откуда у вас сын-садивист?

Совесьть меня не мучила, наоборот:

Ленька-Шпонька говночист
Едет на тележке,
А из жопы у него
Сыпятся орешки!

Ленькиного дедушку зовут Леон Абрамович, бабушку Мария Ефимовна. Мама сомневается:

– Какая Мария! Матля, наверно.
Матля нараспев читает Леньке:

Сьома долго не бил дома,
Отдыхал в Артеке Сьома...

Про Артек она не дослышала, про Арктику передают все время. Она ощипывает петуха и с тоскливой замедленностью выводит:

Он шёол наа Одеессу, он виишел в Херсоону,
В зесааду пепаался оттраад.
Нелеево зестаава, мехноовци непрааво,
И дьеесячь остаалось гренаат...

До этого у нас жили Юра и Боря, чуть постарше меня. Боря сердечно мне нравился, и я назвал его услышанным от бабушки/мамы словом “сердечник”. Под его влиянием – не бывало ни до, ни после – я увлекся природой. Целыми днями мы пропадали в Сбсенках – особом месте в конце участка над речкой, где ничего не вскопано, ничего не посажено, и растет только трава, сосны и сосенки. Мы поедали щавель, кочетки и дикую горчицу. В Сосенках или возле купальни ловили траурниц, махаонов, огромных стрекоз и тоненьких коралловых и бирюзовых стрекозок, били коричневых и брали в руки зеленых лягушек.

Лягушки прыгали в воду. Над водой стоял разбирающийся – сустав в сустав – хвощ. Под водой волшебным образом росли водоросли и мелькали мальки. На воде тяжело лежали кувшинки. По воде на собственных круглых следах, как на коньках, бегали водомерки. Из воды торчали коряги. В голову не приходило, что все это тоже красивое.

Нет выше блаженства, чем босиком, проваливаясь по щиколотку, ходить по теплому покачивающемуся болоту и глазеть во все стороны. Детский рай – возле речки.

Купались не с берега, а из купальни. Ее каждое лето строили папа и дядя Иван. Мне разрешалось при взрослых спуститься спиной вперед по лесенке и окунуться. Вода была перегретая и не освежала.

Купальню разбирали после августовского *олень в воду нассал*.

Мамин двоюродный брат, дядя Игорь, курсант, прогнулся на лесенке, показал десну и выпустил из-под воды пузыри.

Он загадал загадку: как пишется – шЕколад или шИколад, щЕкатурка или щИкатурка? Отвечать я засовестился.

От Игоря я перенял песни рязанского артиллерийского училища:

Для защиты свободы и мира
Есть гранаты, готова шрапнель...

Через поля и реки
Шел боевой отряд.
Здравствуй, родной навеки
Наш белорусский брат.
Шляхта в бою разбита...

Боря был праздником – один раз. Каждое лето моим лучшим другом и утешением был тихоновский дачник заика Вадик, отсталый. Мы сикали с ним через забор, забирались на высокие яблони и распевали:

На рыбалке у реки
Потерял старик портки
Тореадор объелся помидор
Самолет летит
Мотор работает
Комсомолец сидит
Картошку лопают.

Удобно дразнить:

А в нем Ленка сидит
Картошку лопают.

Все любимое у нас – неприличное. Песня:

Цыпленок жареный, цыпленок пареный
Пошел по улице гулять.
Его поймали, арестовали,
Велели паспорт показать.
А он заплакал, в штаны накакал
И стал бумажечку искать.
Бумаги нету – давай газету,
И стал он жопу вытирать.

Зимой мы с мамой и папой ездили на Усачевку к Варваре Михайловне. У нее был толстый альбом неприличных немецких открыток, по три на каждой странице:

два мальчика сидят на горшках
мальчик и девочка сидят на горшках
кавалер и барышня сидят на горшках спиной друг к другу
кавалер и барышня сидят на горшках лицом друг к другу
кавалер и барышня на горшках в одном белье
кавалер и барышня на горшках в пальто
усатый господин и дама на горшках
дедушка и бабушка на горшках.

Папа сказал, что эти открытки – порнографические.

С Вадиком мы уединяемся в сарае, стягиваем трусы и показываем друг другу зады. Это называется епаться. Вадик говорит, что у них в Сокольниках мальчишки епаются с девчонками.

Все называют по-разному:

мама и папа – пisać
бабушка – пысать
Вадик – сикать
Боря и Юра – по-маленькому
Андрюша Звавич – пипі
дядя Игорь – побрызгать
Юрка Тихонов – ссать.

Есть и другие ряды: попка, пупушка, задница, мадам Сижу, жопа.

Мама примирилась с тем, что мы ругаемся. Говно, жопа – почти пожалуйста. Ёпа – нельзя. Про епание мы молчим. Ищем новые ругательные слова. Радостно подслушиваем, как сосед папе рассказывает про охоту:

– А мы ходим да попёрдываем.

Юрка Тихонов – старше нас года на четыре – пришел домой с одним – только забыл – хорошим словом:

– Что-то вроде звезды.

Воробьев Юрка зовет жидами, хорошеньких птичек – дристогоузками.

Про дождь говорит: – Бог ссыт, – про гром: – Бог пердит.

Замечает: – Что эт' у тя одна портка ворует, другая караулит?

Грозит: – Ноги выдерну, спички вставлю

И ходить заставлю!

Любит воткнуть в разинутый рот белый, в пуху, одуванчик.

На переспрос *как?*: – Сядь да покак,

А потом подтерись.

Срал Юрка на каждом углу и, к нашему изумлению, натягивал штаны не подтираясь.

Благодушествуя, Юрка рассказывал про кино:

– Поле. Вдруг посредине взрыв! Бегут люди...

– Над речкой сидит старик и ловит рыбу. А он – шпион.

Тоже из кино:

На палубе матросы
Курили папиросы,
А бедный Чарли Чаплин
Окурки подбирал.

Тучи насрала две кучи,
В воздухе пахнет говном...

Мирó-оза...

Юркин анекдот: – Построил барин деревню. Решил, что первое на дороге увижу – так и назову. Вышел, а поперек дороги портки лежат. Так и назвал: Портки. Потом один из другой

деревни едет на базар. Баринов мужик спрашивает: – Что везешь? – Яйца. – Разве это яйца? Вот у нашего барина в Портках – это яйца!

Юркина мать Наталья Сергеевна пилит Юрку за уличное. Он квакает:
– Ладно тебе!

Мы про Юрку считаем: Тихон
С чорта спихан.
С Юркой можно стрелять из лука. У них в полуподвале – старая мебель, красное дерево.
Из нее получают самые прямые, самые точные стрелы.
С Юркой можно играть в самолет:
– Контакт?
– Есть контакт!
На долгие игры его доставало.

Мы играли в солдатики серьезнее, чем взрослые – в шахматы. Дядя Игорь научил – на крокетной площадке перед террасой мы сделали линию Маннергейма. Проволочные заграждения, окопы, доты, пушки. Бабушка привезла искренний пулемет – крутишь ручку, от кремешка из дула снопом летят искры. Комья земли разрываются, как снаряды. Солдатики падают. Игорь натирает проволоку воском и пережигает спичкой. Танк выходит в прорыв. Вдоль дорожки плавают деревянные линкоры. Война идет бесконечно. Ни я, ни Вадик не побеждают – назавтра продолжение.

Солдатиков у меня уже штук сто. Всех знаю в лицо.

Столовым ножом, молотком и стамеской – нажил на правой руке мозоль – я соорудил самолет и две пушки, стрелявшие камешками, как рогатки.

И все же я страдал черной завистью.

Никогда никому ни до, ни после я не завидовал так, как толстому сыну международного Звавича – тоже Андрею. Они жили у Козьей бабушки.

Солдатики у Андрюши были заграничные: английские гвардейцы в больших черных шапках и французские пехотинцы в красных штанах. Они могли поднимать руку и класть винтовку на плечо. По сравнению с моими, приблизительными, они были невыносимо прекрасны. Я брал у тетки Веры масляные краски и пытался раскрашивать своих – получалось уродство. Я так страдал, что Звавичам пришлось подарить мне одного француза.

Я заболел Францией – Наполеонами из коммюны, Парижской коммуной из детской книжки, революциями из Малой советской энциклопедии. Соседи по капельскому двору подарили мне цветную открытку 1912 года – *Казаки отбивают обоз Наполеона*.

С Францией связаны два счастливейших воспоминания.

Елка в непонятно просторном и отдельном – как дача – полном красивых вещей доме Трубниковых, где бабушка – свой человек.

Зять Трубникова, профессор, химик Баландин – маг и демонстрирует фокусы: соединил две простые воды в вб-ды разных цветов, поджег белую бумагу, и она обгорела по краям, так что вышли фигуры зверей, устроил в большой комнате большой фейерверк.

Я забыл обо всем на свете – может быть, в первый раз, – пляшу у елки с незнакомыми, как с друзьями, тараторю, смеюсь, подружился с маленькой девочкой, то есть повалил на диван и стал выкручивать ноги. Нас разняли, весело, необидно смеялись.

На дорогу мне поднесли царский подарок – огромный *Имаж Милитэр*, альбом с красными штанами в исторических битвах и просто.

Милые Трубниковы, если бы они только знали, как много они для меня сделали!

Елка у них – единственный раз, когда бабушка/мама не побоялись вывести меня на люди.

Второе воспоминание – третье июня тридцать девятого года. Я играю в солдатики на полу на террасе. Мне исполнилось шесть лет. Все мне рады, все привозят подарки. Сумасшедшая тетка Вера заезжает из Москвы, дает мне импортную французскую книжку и убегает назад, на станцию, чтобы ни с кем не встречаться. В книжке много красных и полосатых – трехцветных – штанов. Гёте задумался на коне. Генерал Келлерман поднял на шпаге свою треуголку...

День теплый, ровный, медлительный. За столом мама, папа, бабушка, мать Игоря бабушка Ася, ее муж Дмитрий Петрович, дачники. Все улыбаются мне и друг другу. Большого благожелательства, большого счастья в детстве у меня не было.

Самый лучший мой день рождения...

1977

война

Жестяная коробочка от монпансье. Под уродливыми пограничниками на нижнем ребре – заманчивая недомолвка: МЫ ВСЁ СБЕРЕЖЕМ – МЫ ЗОРКО ГРАНИЦЫ. Очень не сразу приходит в голову, что это – начало слева, конец направо – скучный корявый стишок:

ЧТО ДАЛ НАМ ОКТЯБРЬ, МЫ ВСЁ СБЕРЕЖЕМ —
МЫ ЗОРКО ГРАНИЦЫ СВОИ СТЕРЕЖЕМ.

На всех границах враги:

БЕЛОГВАРДЕЙСКАЯ ФИНЛЯНДИЯ – с финнами повоевали.

ФАШИСТСКИЕ ЛАТВИЯ, ЭСТОНИЯ, ЛИТВА – не понять, воевали мы с ними или нет.

ПАНСКАЯ ПОЛЬША – эту разбили.

ФАШИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ. В школьной книге для чтения – рассказы о будущей войне Ефима Зозули.

Наступающие красноармейцы захватили польский танк. В нем часовня и химическая лаборатория. Ксендз-танкист должен отравить всю окрестность. Приходят крестьяне, видят, благодарят Красную армию.

Германские фашисты взяли в плен раненого красноармейца и привезли в Берлин. Берлинские рабочие немедленно восстали и свергли фашистов.

Без Ефима Зозули известно, что фашистская Германия и фашистская Италия напали на хорошую республиканскую Испанию.

В *Мурзилке* из номера в номер приключения испанского мальчика.

Стихи:

Ты знаешь, Чарита, я сбил самолет,
Я черный *Капрони* сжег.

В СССР привозят испанских детей. Их никто не видел, но все любят. Они знают:

Всем понятные слова —
Камарадос, Ленин, Сталин,

Комсомол, Мадрид, Москва.

Меня и сверстников наряжают в испанки – простая шапка карманом, спереди кисточка.
У фашистов на карикатуре Бориса Ефимова – кисточка спереди-сзади.

БОЯРСКАЯ РУМЫНИЯ с нами не воевала – испугалась.
ТУРЦИЮ и ПЕРСИЮ настраивают против нас ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ АНГЛИЯ
и МИЛИТАРИСТСКАЯ ФРАНЦИЯ.

Самая прославленная граница – Дальний Восток. Туда уезжают девушки-хетагуровки.
Там три танкиста. Там пограничник Карацупа с собакой Индусом задержал сто нарушителей.

В детской книжке опасный шпион уходит, загораясь пионером: пограничники не
могут стрелять. Уйдя, он сам стреляет в сердце пионеру. Больше и лучше всех про мальчиков
и шпионов пишет Гайдар, талантливый.

Стихи:

В глухую ночь, в холодный мрак
Посланцем белых банд
Переходил границу враг,
Шпион и диверсант.
...Горел химический завод,
Горели провода...

Взрослые говорят, что стихи у Михалкова поэтичные:

Жив и здоров
Пограничник Петров.

ФАШИСТСКАЯ ЯПОНИЯ напала на хороший КИТАЙ. В *Мурзилке* рядом с батыром
Ежовым – легендарный Чжу Дэ. Сын народа Ян бросает гранату в японцев. На глазах у японцев
китайский мотоциклист переезжает по воздуху пропасть.

У озера Хасан японцы пробуют напасть на нас. Особая дальневосточная разбивает их.

Японцы захватывают советский пароход и пионера Мишу Королькова. Спрашивают, где
Сталин. Миша не выдает. Японский майор – японцы всегда майоры – сердится:

За хорошие ответы
В правом ящике стола
Приготовлены конфеты,
Шоколад и пастила.
За такие же, как эти,
Принесут кнуты и плети.

Родина спасает Мишу Королькова.

На Халхин-Голе японцы нападают на Мэнэрэ. Это единственная невражеская заграница.
Как из Риги в сороковом, из Мэнэрэ давно везут хорошие заграничные вещи. В разговорах
Мэнэрэ занимает места, как Англия или Польша. Мы выбиваем японцев из Мэнэрэ. Под Хал-
хин-Голом папин знакомый чуть не попал в плен: посреди степи сломалась машина.

Папа и мама ведут меня в первый раз в кино. Кинотеатр *Художественный* на Арбатской площади. Новый звуковой художественный фильм *Если завтра война*. Рекомендовал сосед Борис Федорович, так и сказал:

– Рекомендую.

Сквозь ядовитый газ наступают пехота в противогазах, скачет конница, ползут тяжелые танки. В неравном бою погибает один наш летчик. Последние кадры – цветные. Победа. Сталин и Ворошилов на мавзолее. Песня:

Мы войны не хотим, но себя защитим,
Оборону крепим мы не даром,
И на вражьей земле мы врага разгромим
Беспощадным могучим ударом.

Мы крепим оборону родины. Все подписаны на лотерею Осоавиахима. В небе летает дирижабль с большим портретом Карла Маркса. В газетах гордые орденосцы – Ворошилов, героини-летчики, Гайдар, Михалков. На улицах гордые значкисты – ворошиловские стрелки. Значкисты попроще, орденосцы, носят на пиджаках и теннисках по одному-два-три (треугольником) значка ПО, ГСО, ПВХО. Большой знак ПВХО вешают на дома. На Первой Мещанской, на Садовом кольце вырубали деревья – зелень мешает дегазации.

Противогазы продают в аптеках, как грелки. Противогазов и брошюр по ПВХО нет только на Большой Екатерининской. На Капельском я натягиваю на себя новую серую маску с резинками за ушами и длинной гофрированной трубкой. Болезненно поглощаю противохимические брошюры. Иприт пахнет горчицей, люизит – не понял чем, синильная кислота – миндалем. Химическая тревога – удары гонга или по рельсу.

Когда на дворе общественница запретила *ругаться* фашистом, на свете уже шла большая война. С Капельского на нее смотрели, как с бельэтажа: интересно, но не более, чем кино, и нас не касается. Всей кухней смеялись, что Бек и Рыдз-Смиглы бежали в Румынию. Веселились, читая про первого пленного англичанина. Он заснул на передовой, проснулся и удивился. Удивились и немцы: англичан они еще не видели. Статья называлась: *Где же вы, храбрые томми?*

В *Огоньке* – разрушения Лондона, французские беженцы на дорогах, немецкий солдат в Париже у Триумфальной арки.

На карикатуре Бориса Ефимова французские, английские и американские капиталисты ловят цилиндрами деньги: *Золото, золото падает с неба*.

В карманном атласе к западу от СССР – светло-коричневая Область гос. интересов Германии.

В новом альбоме для марок по листу для каждой страны. Лист Уругвай, лист Парагвай, хотя марок оттуда – пустяк. Ни листа – Австрия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, хотя марок много. Вместо Чехословакии просто Словакия.

От дружбы с Германией – в магазинах алые бумажные цилиндры мемельского цикория.

Во дворе присказка:

– Внимание, говорит Германия.

Дружбу газеты подтверждали неоднократно. В полдень 22 июня Молотов сообщил, чем она кончилась. Папа, мама, соседи, дачники выбежали в переулочек на громкое радио от Богословских.

Все обмерли от неожиданности, никто не сказал такого, чтобы запомнилось. Только Вадик:

– Пойду на фронт – и пускай убьют, как Гавроша.

Как нечто само собой разумеющееся – без обсуждений – воспринимали ежедневное от советского информбюро: наши войска оставили город такой-то, город такой-то, город такой-то. С некоторым ужасом, что Кишинев – весной папу звали туда работать, мог бы и согласиться: вместо наших тринадцати метров давали квартиру. С некоторой надеждой, что который день не сообщают про Минск и Смоленск.

Летом – не вовремя – объявили о сталинской премии изобретателю Костикову. Шушукались, что секретное оружие. По радио еще долго пели про самовары-самопалы.

Разговоры лета сорок первого были короткие:

– При современном развитии транспорта голода опасаться не приходится.

– Запасите соли, крупы и спичек, пока есть в кооперативе.

– Не знаю, куда эвакуироваться, на Украину, в Ташкент или в Кисловодск.

– В Быкове старик с козой оказался шпионом.

– На Вялковском кладбище из подбитой *рамы* спустились четыре летчицы.

– Леваневский не погиб на Северном полюсе, а перелетел к немцам и сейчас бомбит

Москву.

– Это все из агентства ОГГ: одна гражданка говорила.

– Как сказать...

По предписанию поссовета халтурщики за пол-литра вырыли в Сосенках шель.

Ночью страшно выла сирена, страшнее сирены от Богословских загробно вещал Левитан:

– ГрАжданЕ, воздУшнаЯ тревОга!

Мама тащила меня сонного через весь участок. Шафранова Дуся одной рукой прижимала маленькую Люську, другой волокла Леньку – он спотыкался и припадал на колени.

В щели пахло свежей землей, но очень быстро делалось душно. Ленька громко чмокал во сне; когда громко били зенитки, просыпался и от страха икал.

Утром всей дачей сладострастно ходили в Малаховку посмотреть – случайная бомба разбила пристанционный домик, кого-то насмерть. Мы искали осколки – были только осколки стекла.

Днем я выискивал в *Правде* отчеты о зверствах:

– Правая грудь отрезана, левая выпечена, сердце высверлено, половой орган раздавлен.

Алексей Толстой в статье о бомбежке Москвы – как сейчас вижу и наверняка ошибаюсь:

– Раненая женщина восторженно онанировала.

Я не знал, что такое *половой орган* и *онанировала*, но запомнил.

Под вечер из гамака сквозь елочки: по переулку медленно, немолодые. Военный со шпалами запрокинул голову, высоким голосом, тоскливо, почти про себя:

– Когда я на почте служил ямщиком...

Вечером у Македонки дачница Тихоновых – маме:

– Счастливый Андрюша – уже все понимает и в армию не возьмут. Будет потом вспоминать...

Юрка Тихонов приходит прощаться: едет в Тюмень, к дяде. Я: – Окопался в тылу?

Юрка с кулаками. Мама меня отчитывает. Как объяснить, что это я из *Хулио Хуренито*, никого не хотел обидеть.

В тот самый день, когда мы с мамой приезжали на Капельский, явилась общественница – переписывала детей для эвакуации. Мама велела мне залезть под стол, а ей сказала:

– Уже увезли.

Папа роет в сарае убежище – чтобы не в Сосенках, а поближе и поосновательней: потолок в три наката и сверху гряда земли почти до крыши. Замаскировано сараем, может, выдержит прямое попадание. Ну, и если придут и выселят. К счастью, не пригодилось.

Над Македонкой правее свалки стоит ольха, высокая, как сосна. Папа ее среди бела дня без помощников при мне ловко спилил пилой, распилил на бревна, у нас во дворе наколол, сложил в сарай: дрова на зиму. К счастью, тоже почти не пригодилось.

Соседки в ажитации прибежали за мамой:

– Евгения Ивановна, вам удастся...

Над дачей Богословских к макушке самой высокой сосны ремнем пристегнулся взрослый Павлик Хлебников. Разводит, как в воде, руками-ногами.

– Павлик, что вы там делаете? Слезайте!

– Сейчас. Я хочу испытать ощущения парашютиста...

Я люблю валяться на крыше сарая. На черном толе осеннее солнце заметней.

Над головой не спеша летит самолет с красными звездами. Он гудит не как наши – сплошным гудом, – а как немецкие: *ý-ý-ý-ý-ý¹*. В стороне быковского аэродрома слышно шесть глухих взрывов. Самолет так же неторопливо летит назад. Минут через пятнадцать по небу снуют, стреляют трассирующими пулями тупоносые ястребки.

Иногда ко мне забирается Ленька – он боится гнилой приставной лестницы. Я говорю:

– Если придут немцы, скажи, что ты не Шафран, а Акимов. Все равно ты тут с матерью.

(Мама рассказывала – не мне:

– Дуся чуть не на пятом месяце была, решила избавиться. Пила какую-то хадось – эт' как мертвому припарки. Уж я ей помогла. Дуся деревенская, здоровенная, хоть бы что. А ребеночка мы закопали в Сосенках.)

Неожиданно за Ленькой, Люськой, Дусей из госпиталя приезжает Шафран. Он так потрясен, что все время твердит одно и то же:

– Меня ранил немецкий легчик. Я его видел. Он летел совсем низко. Доктор сказал, еще бы полмиллиметра, полмиллиметра...

Из ополчения, из-под Смоленска, возвращается старик Богословский:

– Мы на руках по грязи тащили орудия – четырнадцатого года!

У меня копились трофеи – стабилизатор зажигалки, наши красные, немецкие желтые гильзы, наши острые, немецкие тупые пули, осколки.

Осколки – отечественные, от зенитных снарядов. Я просыпался ночью от бухания и слышал, как в спинке моего дивана возятся мыши. Неслышный осколок лег на подоконник рядом с моей головой. Под соснами Богословских, где мы с Борей когда-то собирали ландыши, осколки лежали поверх игольника, не зарываясь в землю.

Вдруг я вздрогнул: у Богословских я был не один. Я спрятался за сосну, он тоже. Он мог быть уличный, я – хозяйский, оказалось, оба посторонние.

Разложили друг перед другом добычу. Осколков у него было чуть больше. Его так же интересовали марки/ монеты.

Шурка Морозов жил на Кривоколенной напротив Тихоновых. Отец весь день в Люберцах на заводе, мать общественница. Дома – бабка, злыдня, дед был полицмейстер, фамилия Гарниш, считается, чехи, наверно, немцы – весь день заставляет пасти козу.

Я выбегал к нему за Сосенки, на свалку. Летом сорок первого года на ней валялись измазанные говном кра-сивые царские облигации. Мы колебались, брать – не брать.

Шурка гонял козу, матерился, пел:

¹ Выли немецкие и на другой лад: тбу-тў-тид, тбу-тў-тид...

У попа была коза,
Хайль Гитлер!
Через жопу тормоза,
Хайль Гитлер!
Поп на ней говно возил,
Хайль Гитлер!
Через жопу тормозил,
Хайль Гитлер!

Мальчишка с козой – хотя фамилия Гарниш, считается, чехи, наверно, немцы – все не старик с козой, поет *Хайль Гитлер*, а не шпион.

Мы ссыпаем в ключ серу от спичек, затыкаем гвоздем и на привязи жахаем о бревно. Раскурочиваем патроны на порох, устраиваем взрывы. Из никелированной трубки – для малокалиберных – устраиваем самодрачку. Взрослые вздрагивают от этого слова, еще не поняв, что оно из области: *Руку оторвет!*

Самодрачка стреляла с раскатом из любимого каталога Ивэра:
– Солотурн!

Я нашел круглую – как колбасный круг – часть от зенитного снаряда, вставил в отверстие гвоздь и стукнул – стала греться в руках, я успел зашвырнуть в речку.

Мы бежим в поссовет на боевой киноборник *Победа будет за нами*. В зале одни мальчишки. В кино фашисты толстые, глупые, с повязкой на рукаве. Над ними легко потешается бравый солдат Швейк. В наш тыл с парашютом спускается бывший помещик. Заходит к своей крестьянке. Старушка незаметно посылает внучку куда надо.

Кажется, мы понимаем, немцы – не то, что в кино. Поражают воображение величественные слова:

мотопехота, *Мессеримит*, *Юнкерс-88*, *Фокке-Вульф*,
штурмбанфюрер,
дивизия *Мертвая голова*.

Про своих рассказывают анекдоты. Например:

Приходит генерал в окопы. Грузин докладывает: – Кацо – налицо, елташ – в блиндаж, Абрам – в кладовой, Иван – на передовой.

Анекдотов про немцев я никогда не слышал.

Лето тянется так долго, что до поступления в школу на моем огорожке успевают из зернышка вырасти и созреть большой кукурузный початок.

Беспалый Борис Иванович, директор, оглядел меня и сказал кому-то в окно:

– Не свисти, не в лесу!

Удельнинская школа располагалась в обширной дореволюционной даче со службами и пристройками. За ними – плотницкое, на скорую руку, издавна – М и Ж. Устоявшийся запах за тридцать шагов, кучи на улице и внутри, между М и Ж просверлена дырка.

Девочки приседают, сикают у забора. Все видно. До того я считал, что у шафрановской Люськи еще не выросло.

Мама огорчилась, что учительница не старая, опытная, а молодая, но и молодой отнесла новенькие галоши.

В первый же день завуч Тукан вошел посредине урока:

– Учебная тревога!

Школа, киша, расселась в длинной – изгибами во весь двор – щели. Я оказался у выхода.
– Эт' даже лучше, – решила мама. – Если что, скорей выбежишь.

В ней застряла идея бегства:

– Научись кататься на велосипеде. Стоит велосипед – ты взял и уехал...

– Научись управлять машиной. Стоит машина – ты взял и...

Сама, как огня, боялась велосипеда и машины. Да и ни о каком отъезде, бегстве, эвакуации в семье речь не шла: что будет, то будет.

Домашние задания я выполнял одним махом. И все же, видя меня за тетрадкой, мама не могла не запеть незабвенного *Иванова Павла*:

Надоели мне науки,
Ничего в них не понять.
Просидел насквозь я брюки,
Не в чем выйти погулять.

Незанятое унылое время я слонялся по снегу или читал.

Последние довоенные детские книжки не вяжутся с тем, что вокруг. *Чудесное путешествие Нильса* – так далеко, что впервые от чтения делается еще тоскливей.

Марка страны Гонделуны – жизнь совсем как в Удельной, но неправдоподобно легкая, нестрашная, благоустроенная. Захватывает – потому что про марки. Только я не поверю, что вся серия может быть на одном конверте. Папин сослуживец уходил на фронт и оставил мне на всю войну драгоценную редкость – каталог Ивера 1937 года. Я узнал, что в шведской серии не десять, а двенадцать марок, и они совсем не те, что на книжке. *Ивер* творил чудеса. Без словаря я понимал не только наглядные *руж*, *блэ*, *бистр*, *вермийон*. Споткнулся на *тембр-пост* и на *герр де л'индепенданс* – из-за сходства с *л'Инд*.

Кавалер Мезон-Руж – мой первый взрослый роман, 365 страниц. Сладко тайно щемило, и я понимал, что рассказывать маме/папе про любовь Мориса и Женевьевы так же немислимо, как про епание.

Еж конца двадцатых-начала тридцатых, комплектами – от выросших Игоря и Бориса – привозила добрая бабушка Ася. Все листали, читали, никому в голову не пришло, что мне лучше бы этого не давать – выключали же на Павлике Морозове! *Еж* утверждал, что жизнь везде отвратительна. Например, в Америке. Там есть один наш, хороший – пионер Гарри Айзман (его письмо и портрет), остальные – не наши, плохие. *Агентство Пинкертона* в *Еже* ничего общего не имело с прекрасным Нат-Пинкертоном папиных воспоминаний. Безработный с горя идет в шпики и из номера в номер – в картинках – пытается и убивает таких же рабочих. Было в *Еже* и смешное – ненужные изобретения: машина для сбивания яблок, машина для снятия сапог, машина для мытья спины. Но главное для *Ежа* – Лига наций, буржуи с сигарами, контрреволюционные переговоры о разоружении. Похожи на американцев – фашисты: в Италии они поят касторкой, в Германии – бьют.

В ожидании немцев *Еж* пошел в печку. Туда же случайно попала папина – сельскохозяйственная – *Лошадь как лошадь* Шершеневича. Печка стояла горячая от книг двое суток.

Ценности – кольца, часы, отрезы, мои марки – зарыли возле крыльца под фундаментом. Когда отрыли – марки заплесневели, сквозь рисунок проступили желтые прямоугольники самодельных наклеек.

Немцы должны были прийти – в Удельную и в Москву – шестнадцатого числа. Все – в Москве и в Удельной – почему-то сразу узнали, что из метро вышел поезд с правительством.

Нам с мамой было жутко в пустой даче, и мы пошли ночевать к соседям.

Голубоглазый седой Михей – у него были царский полтинник и крымские камешки – неистово бегал по комнате:

– Я увижу строй, я пройду сквозь строй, я скажу им: братья!

Михевна сидела у чайника:

– Ельня, Ельня, помешались они на своей Ельне. А про мое Ржищчево хоть раз написали? Где там моя мама? Михей, перестань бегать!

Михей не переставал:

– ...и всюду жиды пархатые! Вот он здесь – не успел оглянуться, а он уже там. Пархачи!

На ночь я спросил маму про новое слово:

– Пархатые – это потому что порхают?

Я долго не мог заснуть, вспоминал:

– Ихь бин айн щюлер. Ихь хайсе Андрей. Майн фатер ист Сергеев. Майне муттер – Михайлова. Вир зинд руссиш.

Год назад на Большой Екатерининской бабушкин знакомый, учитель музыки, чех Александр Александрович Шварц узнал о моей любви к Франции и не одобрил:

– С немецким я прошел всю Европу. Учи немецкий – все тебя поймут.

Мама подучила меня немецкому, который вынесла из гимназии:

– Когда тогда немцев ждали, я, помню, все хожу, немецкие фразы вспоминаю, думаю, я сразу с ними по-немецки заговорю. А потом как подумала – да они меня живо в штаб заберут, переводчицей. А Андриюшку возьмут да на штык подденут. Нет, думаю, молчать надо.

Утром мы возвратились к себе и легли спать. За Македонкой вдруг началась канонада. Мама вскочила, упала и голеньями со всего маху ударилась о спинку железной офицерской раскладушки. Охая, заперла еще на один оборот двери, поплотней занавесила окна. В убежище казалось еще страшнее. В Москве дед с бабушкой никогда не ходили: судьба.

К вечеру стало стихать. Мама выглянула сквозь стеклянную дверь на террасу: на деревянном топчане, прикрыв лицо, спал толстый чужой солдат.

Проснувшись, он оказался красноармейцем и объяснил, что на той стороне, в Новой Малаховке рвался артиллерийский склад.

Алексей Иванович повадился ходить к нам, то один, то с женщинами. Напевал:

Жить невозможно
Без наслаждений.

Мы с Шуркой прозвали его кашалотом.

Кашалот пил, кричал неожиданно: что все военные – паразиты, – носил со склада консервы и сало в обмен на последние сливы/яблоки. Из Москвы приезжала его жена, плакала, привозила из магазина мануфактуру.

Все всё тащили. Кто-то сказал, и мы с мамой отправились за Чудаково в Кролиководство. Там нам за так – из старой дружбы к папе – дали с выставки два джемпера: загляденье – белый и белый с голубым в крупную матроску. Носить их было нельзя: пух лез в рот.

Сам папа вывез из Дома агронома отсыревшую пропыленную коллекцию минералов, учебную гранату Ф-1, перекошенный школьный микроскоп. Подобрал недостающие тома Малой советской энциклопедии.

После шестнадцатого октября папа заехал за нами. Электрички не ходили. От платформы до тамбура паровика зиял прогал. Мама его перепрыгнула, папа меня перенес на руках.

На Казанском вокзале у выхода в город сиротливый красноармеец с винтовкой проверяет паспорта. Вокруг вокзала – женщины на узлах.

По Первой Мещанской рядом с лошадьми тянутся беженцы. На подводе везут разбитый фанерчатый ястребок.

На трамвайной остановке в горчично-зеленых шинелях и квадратных конфедератках поляки не поляки, говорят между собой по-русски и немисливо матерятся.

На Первой Мещанской у гимназии Самгиной выстроились американские штудебеккеры.

В марочном на Кузнецком офицер невоющей Болгарии скупает неизвестно откуда взявшиеся раритеты.

Букинисты забиты роскошными старыми книгами. Ювелирные, даже галантерейные ломаются от самоцветов. Прекрасный камень с орех стоит как два-три кило картошки.

Тревога была два раза. В стороне ЦДКА стреляли зенитки. Театр Красной армии расписан пятнами, перед ним дощатая пристройка, чтобы сверху был не пятиугольник, а похоже на церковь. В сквере перед театром – зенитчики со слушачами.

В просторной Удельной зенитный огонь опьянял. Хотелось высунуться и посмотреть. На Капельском, в оторванном от земли замкнутом пространстве хотелось деться от окон подальше. Не из чувства опасности – его у меня не было.

Мама встала в очередь в булочной напротив 110 отделения, я остался на углу. Побыл минут десять, вдруг вижу, что на меня несется сорвавшийся с проводов троллейбус. Не испугался, не удивился, отошел. Троллейбус врезался, булочную тряхануло. Маму успокоили:

– Там мальчик стоял – он отбежал.

Я не отбежал, отошел.

На рынке кило картошки стоило 70–80, кило сахара 700–800, кило масла 1000–1200. У нас – вместе с дедушкой/бабушкой – по карточкам много хлеба. Вечером, тут же в булочной, папа загоняет буханку черного за 120.

Появляются невиданные продукты: в магазинах – кунжутное масло, на базаре – квашонка, в учрежденческих столовых – какавелла.

Новое выражение *отовариться* я долго производил от аварии.

К новому году выдали двести грамм карамели *Сибирь* с белочкой.

Новые военные вещи. От холода – химическая грелка. Толстый бумажный пакет нужно залить водой, тогда долго несильно греет.

От темноты – чтобы на улице не натыкались друг на друга – значок: светящаяся ромашка или просто бумажный кружок в жестяной оправе.

Зимой не топили, часто сидели без света. В кухонной темноте Бернардова Тонька слила мне за шиворот большую кастрюлю драгоценной картошки. Я заорал. Потом, помню, я на моем топчане, в комнате, вся квартира с бутылками. На спину мне прикладывают компрессы из постного масла. Не пожалел никто. Скорая помощь говорит: ожог второй степени; помочь ничем не можем, все уже сделано.

Изумленно и без разумения я обнаруживаю и выучиваю наизусть папины *Облако в штанах* и *Хулио Хуренито*. Из них явствует, что были, есть и не иначе будут другие, яркие страны, другая, яркая жизнь. В первую военную зиму я запомнил и полюбил бодрое слово *футуризм*. (Гитлер)

Не верится, что Эренбург – тот же самый, что сочиняет в газетах, как маленький Гитлер подкладывал няне на стул кнопки.

В продовольственных пусто, витрины кормят окнами ТАСС:

Шаловлив был юный Фриц,
Вешал кошек, резал птиц.

Днем фашист сказал крестьянам:
– Шапку с головы долой!
Ночью отдал партизанам
Каску вместе с головой.

Сидит Гитлер на заборе,
Плетет лапти языком,
Чтобы вшивая команда
Не ходила босиком.

В отрывном календаре загадка: Что самое гадкое на букву Г?

(ГЭИЛИ)

В газете: Хорти, Рюти, Антонеску,
Недич, Квислинг и Лаваль.

В газете из небытия на видное место выполз некогда всемогущий лизоблюд Демьян Бедный, Ефим Придворов, то ли сын великого князя, то ли еврей. Когда-то из *Комсомольской пасхи* я вынес:

Дьяков Кир тузит попа
Афанасия...
Евпл, Хуздазат, Турвон, Лупп,
Евксакостудиан, Проскудия, Коздоя.

За *Комсомольскую пасху* бабушка/мама меня осудили. Теперь я читал в *Правде* такое же хлесткое:

Берлинская ночь под Рождество.
Геббельсовское естество
Протестовало против довременной кончины.
В силу этой причины
Сидел Геббельс в бомбоубежище за столиком
Этаким меланхоликом:
Канун Рождества
Без праздничного торжества,
Без хвастовства о победном марше.
В припадке тоски
Растирая виски,
Геббельс диктовал секретарше...

Современное развитие транспорта не спасало. Папа и бабушка ездили за пятьдесят-сто километров менять вещи, чаще всего на картошку. Примороженная, слашавая шла на оладьи; немороженная, почти не чищенная варилась или жарилась на воде.

В Талдоме баба наобещала папе, взяла отрез и смоталась. Папа не огорчился, он считал, что все равно доверять выгоднее. Мама позанудствовала:

– Ты всегда так...

Бабушка при обмене не верила никому, тем более что жулья развелось... Умела видеть, где в бутылке постное масло и где наполовину – внизу – моча.

Мы с мамой выбрались в город. Трамвай медленно ползет от Трубной к Петровским воротам. Вдруг у выхода, через стекло от водителя закричала женщина: ей влезли в сумочку, и она держала вора за руку. Давка была обычная, военная. Стоявшим рядом деваться было некуда, и они – мужчины и женщины – свели вора, молодого, дикого, на асфальт.

– Не выкручивайте! Больно! Я сам пойду! – кричал вор откуда-то взявшимся милиционерам. Пассажиры шли сзади толпой. Медленно их обогнул черный начальственный зис. Бросок – и вор уже висел на его задней решетке. Дальше как в замедленном кино: зис дергает, решетка медленно отгибается, и вор с размаху ударяется об асфальт и еще метров десять-двадцать едет на коленях, оставляя темные полосы.

Голод: в Сосенках собака понюхала только что произведенное собственное говно и принялась аккуратно есть.

К первой военной зиме никто не готовился. Ко второй бестолково готовились с ранней весны. По совету газет/радио срезали верхушки клубней, проращивали семена. Перекопали большую часть участка, пустили далеких знакомых: близких никогда не было.

Дядя Иван по ночам ходил с берданкой по своей половине участка.

Забылись мамины распри с Авдотьей, часто на даче оставался за сторожа я один. Авдотья, злыдня, мегера, живорычка, мамина притча во языцех давала мне почитать библиотечных Лескова, Тютчева, Станюковича, Александра Грина, *Спутников Пушкина*.

Мир с ней продолжался всю войну.

Всю войну и позже я вел дневник. Сделал блокнот из бланков:

МОСКОВСКИЙ Областной ДОМ АГРОНОМА

п/о Долгопрудная, Краснополянского р-на, Московск. обл.

“...”.....194... г.

9 июня 1944 г.

Живу на даче.

Сегодня мама привезла дневник, и я могу записывать, что произошло с 21 мая, когда мы приехали в Удельную. Огород у меня маленький – я посадил всего: картофель 9 шт., помидоры 10 шт., горох 25 шт., бобы 8 шт., кукуруза 15 шт., фасоль 3 шт. Все, кроме бобов, взошло...

19 июля 1945 г.

...Только я открыл дверь на террасу, как увидел, что человек 10 ребят обрываются по направлению к калитке из клубники. У калитки был сломан замок. Я конечно испугался.

Жутко, когда непонятные многие спины ускользают к калитке. Жутко одному в даче. Хорошо, что папа забил толстой фанерой стеклянные двери на террасу. Плохо, что окна такие большие и низкие, что кто-то с улицы может смотреть в дом. Стекло не защита.

Шурка Морозов – садолаз – меня не забывал, и не потому, что мог у нас есть все, что росло. Причина – марки, монеты, солдатики, игры.

Сидя на чердаке, мы сочиняли приказы, рисовали планы, придумывали ордена. Я вырезал их секатором из консервных банок и раскрашивал масляной краской.

В саду за столом играли в подкидного, в акульку, в три листика, чаще всего – искозлялись – вдвоем, со слепыми. Важное дело в козле – чья хвалёнка. Главная карта – шохá, шамайка. Валета склоняли вальтом, в именительном падеже – пант. Десятка в инфляцию стала тыщей.

Переговаривались на тайном языке школьно-подзаборного происхождения. Вместо: *Я хочу курить:*

– Я-хонци хó-хонци кú-хонци.

Курили зверский вишневый лист, солому, изредка – филичевый табак и лакшовые папиросы: *Норд, Путину, Прибей*. До войны я таскал у деда – на пробу – копеечную *Ракету*.

Шурка ослепительно матерился. В ответ на просьбу: – Оставь:

– Хуй тебе от дохлого татарина! – или:

– Хуй те в сумку, чтоб не терлись сухари! – или:

– Кури, скорее сдохнешь, мне наследство останется.

Вместо *здравствуй:* – Как делишки насчет задвижки? – или якобы для взрослых: – Как делишки насчет запора к калитке?

Покупка: – Махнемся?

– ?

– Я те хуй в рот, а ты мне язык в жопу!

Шурка спрыгивал от кондюков на полном ходу, набравшись электрической цивилизации:

В стране далекой юга,
Там, где не злится вьюга,
Жил-был красавец,
Джунгли испанец,
Легкого был он веса...

Васенька толкнул меня сначала, да-да,
Так что меня сразу закачало, да-да,
Я собрался что есть духу,
Двинул Васеньке по уху,
Так что бедный Вася полетел.

Костя не стерпел такой обиды,
Кровью налилось его лицо,
Из кармана выхватил он финку – хлопцы —
И всадил под пятое ребро.

Сидели мы на крыше,
А может быть, и выше,
А может быть, на самой на трубе...

Целое лето я валялся на крыше – дачников не было, верх не занят – и горланил песни и арии. По переулку проносились садолазы, вопили:

– Андрей, спой серенаду!

Я дожидался Шуркина условного тройного посвиста – боялся пойти к нему сам, неудобно выходить за забор, страшно, что покусает Шуркина Мухтарка – однажды кусала.

Являлся Шурка:

Хорошо в краю родном,
Пахнет сеном и говном!

Вдвоем не страшно – ходили купаться. Он ловко плавал, я еле держался на воде. Пузырь воздуха в больших мокрых черных сатиновых трусах поддерживает.

Однажды попробовали повесить котенка, помня, что *шаловлив был юный Фриц, вешал кошек...* Приготовили шнурок, облюбовали сук – не выдержали, отпустили.

В другой раз – плывем на плоту по узенькой Македонке, баламутим воду у мостков. Баба полощет белье, ругается. Шурка:

- Молчи, старая!
- Как те не совестно, я те в матери гожусь!
- Ты мне в подметки не годишься!

Благонамеренные соседки шептали маме:

- Что общего у Андрюши с этим шпаненком?

Сказать то же про Юрку Тихонова не пришло бы в голову: сын хороших родителей.

Тихоновы происходили с Капельского. Когда Юрка родился, мой папа обменял свой просторный полуподвал на Покровке на маленькую барскую комнату на Капельском.

За зыркающую повадку Юрку прозвали Шпиком – смертельное оскорбление. Со мной он держался превосходительно – четыре года разницы, московский уличный опыт. Звал меня одиночником.

Рассуждал: – Потому что потому

Окончается на У.

Соглашался веско: – Факт. игриво: – Вы правы, за вами рубль, жовиально: – Прав, Аркашка, твоя жопа шире, пёрнув: – Жопа подтверждает.

Вразумлял: – А ты говоришь, купаться...

В сердцах: – Ёп-понский городской!

Закругляя: – Хорошенького понемножку, – сказала старушка, вылезая из-под автобуса.

Отказывал: – На вот тебе! – и показывал на ширинку.

Осуждая Шурку, соседки не замечали, что при – допустим – равном безобразии Шуркин фольклор был мальчишеский, бодрый, а Юркин – взрослый, усталый:

Поручик хочет,
Мадам хохочет...

На острове Таити
Был негр Тити-Ити...

И о девушке в серенькой юбке...

В Капитановском порту
С какава на борту
Жанетта оправляла такелаж...

Если у Юрки появлялось новенькое, то это бывало не дай Бог:

Старушка не спеша
Дорожку перешла,
Ее остановил милиционер:
– Вы нас не слушали,
Закон нарушили,
Платите, бабушка, штраф три рубля!
– Ой что же, Боже мой,
Да что ты, Бог с тобой!
Сегодня мой Абраша выходной —
Я в этой сумочке
Несу три булочки,
Кусочек курочки и пирожки.
Я никому не дам,
 Все скушает Абрам,
 Набьется он тугой, как барабан...

– Что ты, Вася, приуныл,
Голову повесил,
Или в булочной Абрам
Хлеба не довесил?
– Надо свесить два кило,
Свесил кило двести.
Как увижу я его,
Удушю на месте!

Юрка прельщал засаленным гроссбухом с марками: Стрейтс-Сетльмент, Лабуан, Абиссиния, синяя американская:

– Линкóльн, освободитель негров.

В круглой картонной коробке из-под мармелада у него были монеты.

– Платина – самый легкий металл, – Юрка показывал алюминиевый жетон Лиги наций.
На очень тяжелой монетке – как сейчас помню – и ошибаюсь:

3 РУБЛИ НА СЕРЕБРО 1840 ГОДА —

и по окружности: ИЗЪ ЧИСТАГО УРАЛЬСКАГО ПЛАТИНЫ.

(По Краузе, платиновая трешка 1840 года существует в единственном экземпляре, и надпись правильная.)

Ни с легкой, ни с тяжелой Юрка не расставался. Однажды промурлыкал:

– Мои финансы поют романсы. Бери рупь Катерины Второй. Семь червей.

Цена дикая, быть в дураках унижительно. Я вертел екатерининские рубли, пока на лучшем не прочитал:

ПЕТРЪ III Б. М. ИМП. I САМОД. ВСЕРОС.

Забрал. Деньги со своего огорода, цена кило помидор. Сам выращивал, сам продавал соседним дачникам.

Чем дальше, тем больше излишки сада/огорода шли на базар. Авдотья торговала сама. Мама – никогда: или бабушка, или Анна Александровна, тихоновская монашка:

– Яблоки – вырви глаз,

Налетай, рабочий класс!

После базара считали выручку – я смотрел, как неизвестно откуда выплывают неприличные, наверняка изъятые купюры тридцатых годов. Удивительным образом, люди брали эти сомнительные бумажки так же охотно, как рупь с шахтером, трешку с красноармейцем, пятерку с легчиком, червонец с Лениным, дикан.

У Анны Александровны был серебряный рубль Николая Второго. Она считала, что он стоит столько, сколько тогда можно было на него купить. Оставалось махнуть рукой.

Анна Александровна (мама за глаза говорила только: Святая) происходила из бывших, сидела на Беломоре, ходила под номером. Тихоновы пустили ее сторожить на зиму – она осталась у них насовсем и из таких, как сама, устроила маленький монастырь. С утра до ночи шли старушки от станции и удельнинской церкви к Тихоновым и обратно. То ли никто не донес, то ли время военное – их не трогали. Соседи звали Анну Александровну Ханжой и были бы рады сказать про нее что-нибудь скверное. Нас всех подряд она почитала красными. Что бы ни делала или говорила, во всем был вызов и настороженность.

– Здравствуйте вам. Нельзя ли мокруши?

– Пожалуйста, – всегда говорил папа.

Перед террасой под яблонями она выщипывала мокрицу для кур. Я вертелся поблизости, она со мной заговаривала – всегда о своем. От нее у меня был на лето старый – с ятями – перевод с французского.

Дневник:

19 июня 1945 г.

...Анна Александровна дала мне почитать “Проповеди для детей” Де Коппета. Замечательная книга.

Над этими простенькими историями я лил слезы, молчал о слезах и о впечатлении. На всю жизнь запомнил и распевал на самодельную мелодию:

К Тебе, Господи, прибегаю, потому что Ты – заступник мой, и буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, потому что Ты был мне защитой и убежищем в день бедствия моего.

Лет через тридцать с лишним узнал, что это из 58 псалма.

Второй класс я начал снова в Удельной.

Появились беженцы. Ленинградцев расселили в пустовавшем с довоенных лет поселке бывших красных каторжан. Один эвакуированный поразил меня несообразной фамилией Курочкис.

Ручку ленинградцы называли вставочкой. О блокаде – им в голову не приходило рассказывать, нам – спрашивать.

Беженцы из Подмосковья жили кто где. У одного из них была дикая опасная кличка Гитлеровский пастух. Наверно, пас при немцах.

Прозвища были в ходу всюду – в Удельной, в Москве – равно:

Седой – блондин (с уважением),

Мышка – блондин (маленький),

Шалфей – смуглый (обычно татарин),

Мора – цыганистый (Я цыган Мора из хора),
Хинэза – монголоватый (в школах обычно проходили немецкий),
Глиста – длинный,
Карапет – короткий,
Рупь-сорок – хромой (Рупь-сорок, два-с-полтиной, три-рубля),
Фунтик – эфемерный,
Фатя – жирный (от комика Фатти),
Котовский – лысый, стриженный под ноль,
от имен: Вовочкин – подхалимская форма,
Коля – залихватская,
от сокращенных фамилий: Ждан, Панфил, Баклан, Сот,
Фадей,
необъяснимые: Притык,
Мирзак,
Патэка.

Изумительная для русского уха идиш-немецкая фамилия Визельтир исключала возможность переделки (дезертир) или замены прозвищем, ибо сама воспринималась как царское прозвище: – Эй, Визельтир!

Тукан было тоже прозвище: нос у завуча был как клюв тропической птицы. Одноклассники рассказывали, что Тукан вошел в женскую уборную за Лидией Степановной и нассал ей в жопу. От этого у нее родились две девочки, а в школе – неприличный глагол *втукнуть*.

Мне в Удельнинской школе было спокойно: уроки знаю, держусь в сторонке. Шурке Морозову хуже – удельнинский, известный, да еще меченый: над его головой поработал стриженный лишай из пристанционной парикмахерской – Плешь, какой падеж?

По фамилии его дразнили Маруськой.

Когда на него наседали толпой, он всегда был готов задрать ногу – и громом на весь школьный двор:

– Лучше героически пернуть, чем трусливо бзднуть! – и с присказкой: – Нюхай, друг, хлебный дух!

Кроме нас с Шуркой, марками/монетами, в общем, никто не интересовался. Из-под спуда возникли и бесплатно переходили из рук в руки марки – синие царские по семь копеек и голубые французские по пятнадцать сантимов – стопочками по сто штук, перевязаны пожелтевшей от времени ниткой.

Во втором классе я узнал муки совести. Интеллигентный и милый москвич Игорь показал мне свои монеты. На большой перемене, когда в классе никого не было – все гоняли по двору, – я сел за его парту, поднял крышку и достал коллекцию – хотел взглянуть еще раз. Неожиданно решил разыграть и сунул монеты в карман – пусть хватится, испугается, я посмеюсь и отдам. Я даже рассказал об этом соседке по парте, но она не обратила внимания.

Я судил по себе – пропади у меня что, я тотчас пожалею хорошему товарищу. Но Игорь был выдержанный, воспитанный, он промолчал, сделал вид, что ничего не случилось, и я потерял повод вернуть.

Так я стал и сознал себя вором. Как меня бередили эти монеты – австрийский крейцер, американский никель с бизоном, двухзлотовик с паненкой, еще с десятков ничтожных русских, латвийских, эстонских, литовских медяков. Выбросить их – от растравы не спасло бы. Вернуть – с каждым днем все позорнее поздно. И я сидел на краденном – тогда цена ему грош, на 1977 – максимум трешка.

Перед седьмым ноября – двадцатипятилетие ВОСРа – наш класс стали готовить к вечеру.

Так – между собой – мы пели одни переделки:

Мы мирные люди,
Сидим на верблюде...

По военной дороге
Шел калека безногий,
А в кармане бутылка вина...

Если завтра война,
Слепим пушку из говна...

Теперь пионервожатая вдалбливала официальные тексты:

Броня крепка и танки наши быстры...

В бой за родину, в бой за Сталина,
Боевая честь нам дорога.
Кони сытые бьют копытами,
Встретим мы по-сталински врага.

Наша поступь тверда,
И врагу никогда
Не гулять по республикам нашим!

В сорок втором это петь было невозможно, и я про себя бубнил:

Наша поступь тверда,
И врагу никогда —
Уж гуляет по республикам нашим!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.